

Григорий Барац

Ревнивец

Падать с дерева было не больно. То ли потому, что эта разновидность шелковиц была низкорослой, то ли ветки, тянущиеся вверх, намеренно подрезали. Разлапистая крона выше трех-четырёх метров не поднималась. Гибкие ветви редко ломались под весом наших дохлятских десятилетних тел послевоенной ребятни. Но даже когда это случалось, мы падали не на твердую землю, а на толстый слой из песка и древесной щепы.

Выстелил этот слоеный ковер папа моего кореша, одноклассника и соседа по галерее третьего этажа Борьки Фидяева – дядя Витя. Несколько лет служил в советском гарнизоне в Германии. Вот и подсмотрел у немцев хитрость, не позволяющую размокшей от дождя земле вытекать грязью с газона на дорогу. Укрыл всю территорию санатория «Украина», где служил завхозом, кроме дорожек и площадок.

...Аллея шелковиц окаймляет заасфальтированную площадку, упирающуюся в санаторный корпус. По утрам здесь лечебная зарядка. Вечером – танцплощадка. Днем, особенно солнечным, – никого. Никого, кроме нас – троицы с Треугольного: Ларки Денисовой – моей одноклассницы и соседки по коммуналке, меня и Борьки. Обдираем шелковицы. Каникулы только начались.

– Борька, Гошка, руки! – командует Ларка.

Становится на сплетенные в мостик четыре мальчишеские руки, цепляется за нижнюю ветку и, перевернувшись, как на турнике, садится на нее. Она рулит нами, как вздумается.

Борька втюрился в нее еще в третьем классе. То семечки ей притащит, то сладкие «морские камешки». А в кого там втюриваться! Рыжая, конопатая, длинноногая. Гоняет пузырь с нами на полянке. Свистит так, что уши вянут. Из рогатки бьет в десятку. Когда дерется, больно кусает острыми, как иголки, зубами. Локти и колени вечно в зеленке. На лето ее подстригают под мальчишку. Пацанка, да и только. Дома все время дразнится и хохочет. А в классе тихоня. В белом воротничке, в черном наглаженном переднике, с ровным пробором между белыми бантами. Пятерка за пятеркой. Хотя во дворе – пока не стемнеет.

Меня она интересует, чтобы домашнее задание по арифметике скатать, попросить чернила, карандаш или резинку. Знаю ее как облупленную. Мне никогда не откажет. А Борьку дразнит кудлатым и белобрысым. Списывать не дает. Портфель в школу донести ему отказывает. А мне отдуваться ни за что ни про что.

Заимел на меня Борька зуб. Да еще и перерос за пятый класс так, что только на цыпочках с ним сравниваюсь. Руки и ноги у него длиннющие. Не отбиться от него и не догнать. Не проходит мимо, чтобы не дать леща по затылку. И деру. Не очень больно, но обидно. Да и больно тоже. А я тут при чем? Что, я виноват, что мы с Ларкой в одной коммуналке живем? На две квартиры один звонок. К ней звонить два раза, а ко мне – один. Он звонит Ларке, а я ему назло все равно высказываю.

По ветвям и листьям шелковицы ползут разноцветные мохнатые гусеницы. Ларка издает пронзительный, но короткий писк, сбивая с себя очередную гусеницу. Я делаю вид, что не боюсь, но дергаюсь, прикасаясь к ним, и моя тубетейка летит вниз. Борька их не боится. Мне кажется, он вообще никого не боится. Даже нашу классную.

Куда девались эти роскошные маленькие цветные паровозики? Мы запирали их в спичечный коробок. Через неделю они превращались в маленькие белые овальные яйца из шелковой скорлупы. Самый завораживающий момент – появление бабочки. Спорили на пятикопеечный кулек семечек – у кого раньше бабочка выберется из куколки. Так мы называли кокон.

Утреннее солнце, пробиваясь сквозь листву, украшает наши коричневые от каникулярного загара тела яркими прыгающими

зайчиками. Морское дыхание – соленый ветерок едва шевелит крону деревьев. Ларкино лисье личико и моя круглая, как футбольный мяч, морда, как и ладони, окрашиваются фиолетовым соком. Только Борькино лошадиное лицо остается чистым. Всю собранную шелковицу он пересыпает в Ларкины руки. А Ларка, глядя на него, половину отдает мне.

Наше пиршество прервано внезапной движухой. Из санаторного корпуса на площадь вынесли столы. Накрыли их красными скатертями с бахромой. Поставили граненый графин воды и такие же стаканы. Напротив столов образовали ряды из разномастных стульев. Отдыхающие в пижамах и соломенных шляпах расселись, помахивая газетами, как веерами.

Девушка в пиджаке, с бубликом из жидких косичек на голове, с красной папкой в руке бесстрастным вокзальным голосом объявила:

– Встать, суд идет!

Судом оказались трое людей, которые гуськом вышли из дверей корпуса. Впереди шла точная копия девушки в пиджаке, но с «улиткой» на голове, старше и полнее. За ней хромой старик в потертом морском кителе и фуражке с якорем на кокарде. Замыкающим шел, расставив руки, подгоняя впереди идущих, здоровенный дядька в бурой косоворотке, подпоясанный армейским ремнем со звездой на бляхе.

Трехголовый суд расселся за столом. Посредине, возле граненого графина с водой – Улитка, по обе стороны от нее рядом со стаканами – Кокарда и Бляха.

– Выездное заседание народного уголовного суда объявляется открытым, – деревянным безапелляционным тоном произнесла Улитка. – Вести подсудимого!

Публика зааплодировала. Судья хлопнула что есть силы пухлой ладошкой по столу. Народные заседатели Кокарда и Бляха вздрогнули, отдыхающие утихли.

Из открывшихся дверей один за другим вышли два плюгавых низкорослых милиционера в португелях с кобурой. Между ними – белобрысый вихрастый тощий парень в джинсах и тельняшке – браслеты на руках с железной цепочкой.

Милиционеры вдавили парня в садовую лавочку, поставленную рядом со столом трехглавого суда, став за его спиной.

– Прения сторон и последнее слово подсудимого, – все тем же трубным басом объявила Улитка. Вновь шлепнула по столу и, направив указательный палец на лысого дядьку в белой безрукавке и черном галстуке, сидящего в первом ряду, представила:

– Государственный обвинитель, вам слово.

Дядька поднялся, скрипя то ли коленями, то ли стулом.

– Ваша шесть, – обратился он, повернувшись к красному столу и одергивая мятые брюки, – прештупник совершил общэственно опасное прештупление.

Защелкав зубными протезами, мешающими ему произносить добрую часть букв алфавита, дядька повернулся к лавочке. Здесь ждал своей судьбы обвиняемый, запрокинув голову, с торчащими в небо короткими белобрысыми кудрями. Казалось, что все происходящее его не касается. И если бы не две окаменевшие фигуры милиционеров за его спиной, можно было бы подумать, что он из отдыхающих, радующихся жизни.

– Так ешели саради рефности кошный будя вешаться, кто ш детей стране будеть производить, – продолжал шамкать обвинитель. – Счытаю прэштупление доказанным и прошу назначит наказание – десять лет без прафа перепишки. Ой, не то, – спохватился он, – просто десять лет. У меня все, – сваливаясь на стул, произнес на выдохе дядька.

Публика встревожено зашущукала:

– Кто повесился? Кого повесили?

Подсудимый вскочил.

– Сядьте, – зарокотала Улитка, – то есть встаньте, вам слово. Назовитесь и расскажите, как вы дошли до жизни такой.

– То сядьте, то встаньте, – обиженно заговорил подсудимый. – Борисом Викторовичем меня кличут. Моряк я. Потомственный. Помощник моториста. В загранку хожу. По полгода дома не бываю. Перед последним рейсом женился на Ларке. Мы с ней в одном классе учились. После восьмого класса я в «Тюльку», то есть морскую ремеслуху пошел. А она с моим корешем Гошкой доучиваться в школе осталась. Они и тогда крутили, а сейчас, пока я в рейсе, видать, замутили. Да вон они сидят, голубки.

– Ничего не видать. Ни тогда, ни сейчас, – выскочив к столу, выпалила рыжая, конопатая, длинноногая девушка с лисьей мордочкой, как две капли воды похожая на мою соседку Ларку.

– Свидетель, сядьте на место! Когда надо, вас вызовут, – зарокотала Улитка.

– Никакой я не свидетель. Жена я ихняя. Меня вся Молдаванка знает за порядочную. Ларкой-недотрогой кличут. Мы поженились за неделю до рейса. Всю медовую неделю он бухал. Не сказал, когда с рейса вернулся. Я с работы отпросилась и до его коммуналки прибежала узнать. Соседка его, убиенная, сказала, что не приходил. И больше я ничего не видала и не слыхала.

При слове «убиенная» порыв усилившегося ветра вырвал газетные веера, публика разом проснулась, охнула и заерзала.

– На место! Тишина! – зашипела Улитка. – Подсудимый, продолжайте.

Все происходящее меня волновало гораздо меньше, чем шелковица. Ларка поначалу тоже не прекращала лакомиться. Но оставилась, пересела на нижнюю ветку и замерла – то ли всматриваясь, то ли вслушиваясь в разворачивающееся действие. Борька, как привязанный, сполз к Ларке и уселся рядом.

– Ты глянь, – пихнув Борьку в плечо, удивилась Ларка, – он вылитый ты, – и, показывая на подсудимого пальцем, добавила: – только взрослый.

Мне достались самые сладкие шелковичные сережки на верхних ветках. Под моим весом мухи утренний бриз раскачивал, выгибал, но не обламывал их. Отсюда сквозь линзу нагретого воздуха видны даже стекающие ручейки пота на лицах людей и слышен шорох газетных вееров.

– А чего продолжать? Я сто раз следаку рассказывал, – заупрямился подсудимый.

– Вы народу расскажите, как вы со старым почтенным человеком обошлись. Суд у нас народный, – упрямо настаивала Улитка.

– Давай, кайся, – раздались выкрики с площадки, – облегчи душу.

– Согласен: бабу Маню вся Молдаванка почитала, – повернувшись к публике, согласился подсудимый. – Ей сто лет в обед. Плюгавая толстозадая коротышка. На один глаз видит, на одно ухо слышит, а денежку не упустит. По ночам через форточку водку с соленым огурцом продавала втридорога.

– Это к делу не относится, – перебила его Улитка. – Вы признаетесь в содеянном?

– Граждане, – повернувшись к публике, взмолился подсудимый. – Да я готов на люди пойти. Как народ решит, пусть так и будет.

– Здесь суд решает, а не народ, – вскипятилась Улитка.

– Сами же сказали – суд народный, – парировал подсудимый. – Виноватый я в том, что Ларку заревновал. Задумал выяснить: меня любит или заради шмоток западных замуж вышла.

– Какие такие западные шмотки я от тебя видела? – заорала во все хриплое горло свидетель Ларка. – Два лифчика, из которых у меня все вываливается. Пусть люди скажут.

Повернувшись к публике, Ларка задрала кофточку, обнажив почти не прикрытую мясистую грудь.

Отдыхающие вскочили, загудели, затопали ногами. Усилившийся ветер сорвал и унес соломенные шляпы. Мужики повскакивали, захлопали.

– Еще тут бардака мне не хватало! Арестую в зале суда! – закричала Улитка, вызвав смех всей загорающей на площадке публики. Ударив кулаком по столу так, что выскочила стеклянная пробка из графина, Улитка приказала: – Прекратить галдеж! Подсудимый, ближе к делу.

– Дела у прокурора, – сквозь зубы процедил подсудимый Борис.

– Громче, громче! – потребовала публика.

– Ну в чем я виноватый? – приставив руки рупором ко рту, продолжил подсудимый. – Захода в порт не давали. Болтались на внешнем рейде третьи сутки. Портовым буксиром часть экипажа снялась на берег. В квартиру зашел тихо. Баба Маня, видать, спала в своей каморке. Разложил шмотки привезенные в шкаф. Сижу курю. Жду, когда Ларка появится. А ее все нет да нет. Дай, думаю, разыграю мертвяка. Посмотрю, как женушка среагирует.

Борис обеими руками почесал затылок, прокашлялся и продолжил:

– Табуретку поставил между окном и шкафом. Веревку к карнизу привязал и на шею накиннул. Ноги занавеской замаскировал. Темные очки надел. Стою жду.

Зал затих в предвкушении кульминационного момента. Слышны были только шорох листьев от внезапно усилившегося ветра и поскрипывание стульев.

– Слышу, баба Маня тапками по коридору шлепает. Смотрю – в приоткрытую дверь заглядывает. Заходит, голову подняла, глаз прищурила – приглядывается. Закатывает рукава халата. Гребнем волосы в копну собирает. Подходит к телевизору японскому, что я с прошлого рейса привез, и утаскивает его.

Публика захихикала.

– Вам смешно, – среагировал подсудимый Борис, – а мне тошно, как вспомню. Значит стою, не дышу. Наблюдаю, как баба Маня простыню на полу расстелила, шмотки мои из шкафа на нее перетасила, в узел завязала и уволокла на горбу к себе.

Смех становился все громче. Стали подначивать:

– Чего старушке не помог донести?

Борис отмахнулся двумя связанными цепочкой руками и продолжил:

– Все бы ничего, ежели бы ей занавеска моя не приглянулась. Подтащила табуретку к окну. Поставила рядом со мной. Кряхтя, залезла и давай с карниза занавеску сдергивать. Тут я не выдержал, ногой по ее толстой жопе приложился.

Волны смеха катились по всей площадке.

– Смешно вам, да? А мне сидеть из-за этой воровайки. В чем я виноватый? Когда она увидела, что я удавился, стала воровать мое добро. Я, как грохнулась она с табуретки на пол, ей скорую вызвал. Через час приехала. Оказалось, баба Маня дуба дала.

Что послужило причиной падения моего кореша Борьки с дерева? То ли взрыв хохота, то ли сильный порыв ветра. Но никто, кроме меня и Ларки, этого не увидел и не услышал. Он шмякнулся плашмя на мягкий газон, зарывшись мордой в песок.

Ларка спрыгнула, и пока я слезал, перевернула Борьку на спину. Он лежал, не открывая глаз. Ларка сидела рядом на корточках и выдавливала сок из шелковицы ему в рот.

– Вставай, притворюха-муха, – сказала Ларка, выпрямляясь. – Тоже мне ревнивец.

